Чехов А. П. 28/I-90

К 130-летию со дня рождения великого русского писателя

ЧЕХОВСКИЕ МЕЛОДИИ

Нынешний январь для всех, кому дорога русская литература, кто преклоняется перед гением Антона Павловича Чехова, связан с 130-летием со дня его рождения. О Чехове написано множество книг, существует целая библиотека и мемуарной литературы. И все-таки, оказывается, нам известно далеко не все. Нынешний процесс возвращения в нашу литературу имен и произведений незаслуженно забытых писателей дарит нам неожиданные открытия. Так, среди воспоминаний, например, Александра Плещеева, оказавшегося в 20-х годах в Париже, были обнаружены и страницы, посвященные Антону Павловичу Чехову.

Кто такой Александр Алексеевич Плещеев? Он вырос в артистической среде, его отец—русский поэт А. Н. Плещеев. В доме Плещеевых всегда собиралось интересное общество, представители творческой интеллигенции того времени. Сам же Александр Алексеевич был актером, затем писателем, драматургом. Немало любви отдавал он русскому балету. В годы эмиграции А. Плещеев посвящает все свое время написанию многочисленных воспоминаний. Они печатались в зарубежной периодике. Но главный его труд—книга «Что вспомнилось? За 50 лет». Она была издана в Париже в 1931 году. Взятые из нее страницы «Чеховские мелодии» (оригинальное название глав, данное автором,— «А. П. Чехов») публикуются в нашей прессе впервые, как и фотография с чеховской дарственной надписью автору мемуаров. Публикация подготовлена с участием И. Хабарова.

Из воспоминаний А. А. Плещеева

Имя Чехова я услышал первый раз от Н. А. Лейкина, издававшего в Петербурге юмористический журнал «Осколки». Встретились мы с Лейкиным в редакции «Петербургской газеты», издателем и редактором которой был С. Н. Худеков.

— Нового Щедрина открыл! — радостно хвастался Лейкин.— Прочтите-ка «Осколки»! Прочтите рассказ Чехонте! Это псевдоним Чехова! Вот рекомендовал его С. Н. Худекову и просил, чтобы присылал рассказы для «Петербургской газеты»

Вскоре появились первые рассказы Чехова в «Петербургской газете».

Д. В. Григорович, встретившись со мною в Александринском театре, спросил: «Читали в «Петербургской газете» рассказ Чехова?» Рассказ, о котором шла речь, если не ошибаюсь, назывался «Егерь»

Григорович был у Суворина и прочел ему этот рассказ. Суворин сразу почувствовал у автора наличность оригинального и сильного художественного таланта и просил Григоровича узнать адрес Чехова.

В «Новом времени» завели тогда рубрику «Субботники» и каждую субботу помещали небольшие рассказы, или «сценки», как их тогда называли.

Спустя недели две-три Чехов дебютировал в «Новом времени», приехал в Петербург и остановился у А. С. Суворина. В этот приезд он перезнакомился со многими литераторами и в том числе с моим отцом, который увлекся не только чеховским талантом, но и личностью молодого автора. Между ними завязалась дружба.

Антон Павлович начал бывать у Плещеева, и там я познакомился с ним ближе.

Отец мой питал нежную привязанность к Антону Павловичу, а если перечитать письма Чехова к нему, то можно убедиться, что эти чувства были взаимными. В конце восьмидесятых годов Антон Павлович соблазнял моего отца приехать к нему в усадьбу Лука Сумского уезда, близ Полтавы: «Вся моя команда будет состоять из молодежи, там ваше присутствие, что вы уже не раз испытали, имеет особую прелесть». И после отъезда Плещеева из усадьбы Лука Чехов писал ему: «Искренно вам говорю, что три недели, проведенные мною в вашем незаменимом обществе, составляют одну из лучших и интереснейших страничек моей биографии».

Дружеские отношения Плещеева и Антона Павловича давали мне возможность проводить время с последним, когда они приезжали в Петербург. Мы скоро сделались приятелями. Наши встречи повторялись у отца, у Лейкина, у Худекова, в редакции «Петербургской газеты», в театре и т. д. Ездил я в Москву и там бывал не раз в семье Чехова, и немало проводили мы с Антоном Павловичем долгих вечеров в ресторанах с общими друзьями — актерами и журналистами.

К актерству Антон Павлович был неравнодушен, любил его, и еще в юности писателя, в его рассказах из быта актерства можно было наблюдать любовное отношение к нему. В то время, когда большинство писателей выбучивало и опошливало актера, Чехов подходил к нему и в рассказе, и в жизни ласково, дружелюбно. И актерство было расположено к нему.

В эту пору быстро возраставшей популярности Антона Павловича он оставался равнодушным к ней. Ни в эпоху первого периода своего творчества, ни позднее, до последних дней своей славы, он не менялся и был по-прежнему скромен, не выпячиваясь из толпы. Выше толпы он не желал быть в своей, я сказал бы, угрюмой жизни. Угрюмость прогрессировала в личном чеховском настроении. Мне часто представлялось, что и в жизнерадостные моменты у Антона Павловича нет-нет да просвечивает угрюмость. Может быть, это было сначала последствием мыслей о нужде, о заботах личной неудовлетворенности, а позднее тревог за развитие болезни, которую Чехов, как врач, видел без маски. Врачи и друзья старались всегда представить Чехову эту болезнь в маске, скрывавшей ее подлинный вид. Для Антона Павловича это не было убедительно, он сознавал, что находится во власти туберкулеза. Но, повторяю, Чехов молодой и Чехов средних лет были как две капли воды похожи друг на друга, не считаясь с изменившимся положением в жизни, не считаясь с нагрянувшей славой. Есть люди, и я, и вы их встречали, которые о чем бы ни говорили, как бы хорошо ни чувствовали себя, но кажется, что они в то же самое время думают о чем-то совершенно противоречащем, может быть, данному настроению. Вот таким мне вспоминается Антон Павлович. Благодаря деликатности, застенчивости Чехова он казался самым заурядным человеком, как я упомянул уж. В галерее русских писателей, которых я знал и образы которых живут в моей памяти, Глеб Успенский и Всеволод Гаршин наиболее приближались к Чехову по своей красоте душевной.

Приехав однажды в Москву и остановившись в Большой Московской гостинице, я встретил в коридоре Антона Павловича.

Позвал он меня в свою комнату пить чай, и стал я ему жаловаться на недомогание, говорил, что подозреваю у себя рак в желудке.

— Нет,— заметил Антон Павлович,— рак — это не то... рак, так вы бы дома сидели... где мрачно... занавесочка на окне и света не надо... Бросьте думать.

— Хандрю, мнительность...

— А вот пойдем обедать, посидим в зале нашей гостиницы... Орган только надоел. Вчера восемь раз «Фауста» заводили. Много — восемь раз!

Обедали мы вместе, потом гуляли по бульварам, потом пошли в трактир Тестова, по соседству с Большой Московской гостиницей. Входим в швейцарскую, а сверху звуки органа доносятся.

— «Фауст»,— прислушивается Чехов.— Марш из «Фауста»... Пойдем в «Эрмитаж»!

Повернули и пошли в «Эрмитаж» Светло было, бело, дам из театров понаехало много. Только что уселись на красном диване, орган заиграл «Фауста».

— Пошлем Гуно телеграмму! — шутил Антон Павлович.

Слабость к трактиру, столь присущая особенно москвичам, была, по крайней мере в более молодые годы, и у Антона Павловича. Влекло сюда не обжорство, не пьянство, до чего Чехов охотником не был, а просто желание провести время на людях, поболтать с кем-нибудь. В Москве без трактира ни одной сделки не делали, ни об одном деле не рассуждали. Трактир для москвича — это то же, что для парижанина кафе. А для Чехова, как для писателя, для его чуткой наблюдательности, в трактире было широкое поле. В трактире проходила перед ним вереница людей всяких положений и профессий.

Не успели мы оглянуться, как нас приветствовал молодой человек деловито озабоченного вида.

— Откуда? — спросил Чехов.

— С пожара. На Пречистенке большой пожар. Был в типографии, дал отчет, завтра прочтете!

Он сказал это с уверенностью, что Чехов, развернув утром газету, жадно бросится искать отчет о пожаре. Это был репортер одной из московских газет.

...Несколько лет спустя я навестил Антона Павловича в Ялте, где он, подсмеиваясь над самим собой и называя себя рантьером, жил на собственной даче. Помещается эта дача не в самой Ялте, а в нескольких минутах от нее, в деревне Аутке. В сущности Аутка—это хвостик тянувшейся в гору извилистой Аутской улицы.

Небольшой каменный домик, с террасы которого открывается вид на красивый горный пейзаж и Черное море. Садик был тогда совсем жалким, игрушечным, а теперь он разросся и скрыл, вероятно, дачу от солнца.

Тут было тихо, и шум волн не был слышен, лишь скрип немазаных колес доносился сюда. Не видно было и разодетых дам, толкущихся около гостиницы «Россия» на набережной.

Антон Павлович выглядел в Ялте удовлетворительно, окреп, загорел, малость округлился, но мысль о туберкулезе преследовала его. Он не скрыл от меня, что у него обнаружены коховские палочки, поминутно плевал в синий пузырек, который вынимал из кармана, и поглядывал в него.

Пошли мы в крошечный кабинет Чехова. Почти пустая комната. На столе рукописи, несколько книг, портреты на столе и на стенке, больше без рамок, приколоты булавочками— Лев Толстой в нескольких видах, Суворин, Горький, Григорович, Плещеев, Полонский, Комиссаржевская, Васнецов. Над камином зеленый пейзаж Левитана — сенокос ночью, казавшийся, если отойти на шаг от него, каким-то нежно-зеленым пятном. Чехов, по его словам, любил Левитана.

На стене печатное объявление: «Здесь просят не курить».

Антон Павлович был один-одинешенек, когда я пришел к нему. Прислуживавший ему человек жил на дворе во флигеле.

От времени до времени позванивал телефон, подтверждавший, что в Ялте была уже культура. Да и немудрено, потому что по соседству с городом было царское имение Ливадия.

Чехов, читавший письмо, встретил меня улыбкой.

— Представьте, только что получил письмо от покойного Александра Ивановича Урусова: 13 мая князь Урусов просил знакомого передать мне это письмо, а оно запоздало, и я получил только сегодня... Милое, остроумное письмо с того света!

О Ялте мнение Чехова было симпатичное: «Хорошо, красиво, даже в декабре встречаются такие чудные дни, как сегодня. Бывает, впрочем, скучновато, однообразно. Разумеется, если приехать сюда да ничего не делать... день-другой и повесишься».

В это время Чехов собирался в Москву ставить «Трех сестер», потом ехать за границу на французскую Ривьеру, а потом мечтал о путешествии по Африке.

— Чувствую,— продолжал он,— что засиделся, манит подальше. В конце мая ездил я с Горьким и Васнецовым на Кавказ; любовались Военно-Грузинской дорогой, были в Мцхете, Тифлисе, Батуми... Я третий раз путешествовал по Кавказу. Ялту я нередко покидаю на день, на два... Наскучит — отправлюсь на пароходе в Гурзуф... Я море очень люблю.

Антон Павлович работал обыкновенно по утрам, до двенадцати часов дня, представляя собой среди русских писателей исключение: большинство их принималось за работу ночью. Редко Чехов работал вечером, да и то не до поздней ночи.

Одиннадцатого октября мы уговорились с Антоном Павловичем поехать в Гурзуф, принадлежавший прежде Губонину. От Ялты до Гурзуфа часа три езды. Я зашел за Чеховым, наняли мы экипаж и часов в десять утра тронулись, любуясь всю дорогу морской далью... Гурзуф справедливо считался тогда одним из благоустроенных и красивых крымских курортов, где построили приличные гостиницы, где все-таки был комфорт, хороший ресторан и где не скучали.

По дороге беседовали с Чеховым о журналистах, газетах и журналах.

— Амфитеатрова и Дорошевича в газете «Россия» вы читаете, Антон Павлович? — интересовался я.

— Постоянно... и думаю, что вот, может быть, они-то и намечают то новое, что нужно для современной литературы. Мне кажется, что форма устарела и необходимо что-то новое... Надо писать по-другому.

В Гурзуфе мы обедали.

Когда мы вошли в большой зал местного ресторана, Чехов увидел за одним из столов компанию и, обращаясь ко мне, шепнул:

— Пойдем подальше, в другую комнату, в уголок, чтобы не видели. Это Пастухов здесь с приятелями. Позовет вместе обедать, а это тяжело...

Николай Иванович Пастухов был издателем и основателем «Московского листка» и представлял собою на редкость типичную, незабываемую фигуру старой Москвы. Популярность его была широкая; когда он ехал в ландо (он почему-то всегда ездил в огромном ландо), то ему городовые козыряли. Пастухов нажил своей газетой огромное состояние, был по натуре добрым человеком, но диким самодуром и оригиналом. Газету его в литературных кружках презирали, и тем не менее некоторые из судей строгих описывали у Николая Ивановича и не прочь были взять у него аванс. Выдавал он авансы из кармана, без расписок. Пастухов говорил многим «ты», и только когда сердился на кого-нибудь переходил на «вы». Не помню, помещал ли у него что-нибудь юный Чехонте или нет но они были давно знакомы, и Антон Павлович добродушно рассказывал о Пастухове и о встречах с ним. На этот раз он не был расположен беседовать с Пастуховым и его компанией.

Обедали мы в другой комнате, в сторонке, и были уверены, что никто нас не заметил. Мы ошиблись: когда я встретил Н. И. Пастухова в Москве, он был сух со мною и не скрывал обиды.

— В Гурзуфе были? С Чеховым обедали? Видели мы вас. Гнушаться стали, старых приятелей забыли.

Потом Николай Иванович смилостивился и продолжал в более ласковом тоне:

— Скажи Антону Павловичу, что обидели вы меня, что не ожидал я! Даже не подошли поздороваться.

Я сообщил эту претензию Чехову, и он признал ее справедливой, объяснив, что ему просто тяжело было много разговаривать, что он устал и искал отдыха.

— Встретите старика,— сказал Чехов,— передайте ему.

...Погуляли мы после обеда и двинулись обратно в Ялту. Чехов привстал в коляске и что-то объяснил татарину, сидевшему на козлах, который нас вез. Тот помотал утвердительно головой. Чехов помялся и сказал мне, что мы заедем в его хижину

— У меня в Гурзуфе, у морских волн есть хижина, уголок, о котором никто не знает. Я купил себе, чтобы удаляться сюда для работы, чтобы скрыться от глаз людских.

Это была миниатюрная сказочная избушка на курьих ножках, домик-крошечка в одно или два окошечка, прилепившийся к скале, близ обрыва. И такая крошечка, что во весь рост — так по крайней мере казалось — туда не влезешь, а надо согнуться.

— Вы никому не говорите об этом уголке,— просил тогда Чехов,— никто почти не знает, что у меня здесь есть клочок земли и хижина.

Хотел Антон Павлович провести меня в самую хижину, но дворник ушел и ключи унес с собой... Смотрели только в окно да в стекла двери... Ничего, кроме письменного стола и стула, я там не видел.

Близ скалы с чеховской хижиной шумели послушные на этот раз волны, обдавая лежащую напротив большую каменную глыбу, которую там называют Пушкинской скалой.

По возвращении в Ялту мы с Чеховым прошлись по набережной и расстались. Он был уже утомлен. Дня через два я уехал. По-прежнему мы продолжали встречаться, то в Петербурге, то в Москве.

Как-то в Париже в отеле «Мирабо» я встретил Антона Павловича у моего отца и был несказанно обрадован этому. В то время у меня были средства, а с ними Париж представлялся много соблазнительнее, чем без них...

— Говорят, погуливаете вы здесь?—спросил меня Чехов.

— Обожаю Париж, Антон Павлович, осматриваю...

— А что бы меня позвать да показать.

— Хотите, Антон Павлович, завтра обедать вместе, а потом посмотрим разные кабачки?

— Очень хочу.

Так мы и решили, чтобы встретиться на другой день и пойти обедать.

— Меня Суворин звал провести вечер с ним, обедать, но мы все время вместе,— говорил Чехов,— а с вами-то будет посвободнее.

Между прочим, я рассказывал Чехову, как с одним приятелем осматривал ночной Париж, для чего, в качестве журналиста, обращался к начальнику сыскной полиции Горону, который поручил своему агенту Росиньолю сопровождать нас и показать всевозможные вертепы Парижа. Чехова это заинтересовало, и он пожелал последовать моему примеру, желал осмотреть самый низкий пласт парижской жизни, а пока что — условились исследовать средний ее пласт.

На другой день я обедал с Чеховым и с приглашенным мною другом детства доктором-психиатром В. П. Тишковым, учеником академика И. П. Мержеевского. Чехов тоже по профессии врач, так что между ним и Тишковым была общность интересов. Ели умеренно, а на напитки приналегли, начав с отечественного нектара — водки. А потом, как говорится, пошла писать губерния. Как из земли, вырос около нас какой-то чичероне, рекомендованный внимательным к иностранной клиентуре рестораторам. Колесили мы с ним по Парижу всю ночь. Начали с «Мулен Руж», где смотрели танцы модной тогда танцовщицы Гулю. Она танцевала среди публики со своими товарками, причем каждая вытягивала ногу к плечу, словно солдат брал ружье на плечо. Потом соединяли ноги в воздухе и замирали в группе, под аплодисменты публики. Гулю была грубовата, лишена грации, но почему-то о ней кричали.

Антон Павлович, не считаясь с сознанием, что алкоголь ему вреден, потягивал вино, а коллега Тишков подбадривал его и люто аккомпанировал ему.

— Не превратиться бы нам в двух нотариусов из «Периколы»! — заметил Чехов Тишкову.— Ну да Александр Алексеевич поддержит... он крепче нас.

Попали еще в какой-то кабачок. Появились, разумеется, женщины, и вижу, как сейчас, бледного Антона Павловича, беседовавшего с одной из них. Он вынул из кармана золотой и подарил ей, сказав, приблизившись ко мне и Тишкову:

— У нее есть дочь.

И больше ни слова о ней. Я последовал его примеру и в свою очередь поддержал стройную женщину, цвет кожи которой был бронзоватым, а лицо усталым, неспавшим

Чеховский отклик на ее жалобы не поднял ее духа и мало тронул ее. Искренна она была или нет, никто не знал.

Поехали дальше в какой-то притон, где под звуки скрипки и трубы вальсировал подозрительный и темный Париж. Спросили ликер. Я был здесь раньше с Росиньолем.

Под утро, когда светало, пили кофе где-то у центрального рынка. И Чехов, и Тишков позеленели, да и я, вероятно, тоже, хотя чувствовал себя бодрее их. Прошлись по рынку, откуда несло вкусными ароматами свежих овощей.

Я проводил приятелей до гостиницы, где они жили, и на другой день мы не виделись.

Через день встретил на Итальянском бульваре А. С. Суворина. Он ворчал и надулся. Совсем Грозный.

— Что вы сделали с Чеховым? Вы ведь его чуть не уморили? И теперь еще у него голова болит, он едва ходит! — набросился на меня Суворин.— Нет, нет, больше вы его, пожалуйста, не приглашайте!

Суворин, помимо того, был недоволен, что Чехов променял его на нашу компанию.

Антон Павлович не жаловался при встрече со мной на недомогание, а только благодарил, причем сознался, что очень многого совсем не помнит. Я сказал, что мне за него влетело от А. С. Суворина.

— Ревнует старик,— смеялся Чехов.— Сердится, что обедал один. Он думал, что я умирал, голова болела, а так чувствую себя ничего.

Суворин многим из знакомых рассказывал о нашей экспедиции и в том числе Д. В. Григоровичу; последний не упрекал меня, а взяв при встрече под руку, таинственно сказал:

— Плещеев, расскажите мне, где вы были с Чеховым? Это очень интересно. Париж поразительный город, и никто не может сказать: я его знаю! Как тут много интересного и всегда нового. Я Вену очень люблю, но Париж — Париж! Я очень рад, что Чехов поглядит на этот пуп земли. Если еще соберетесь, я готов ехать вместе с вами. Тонкий город... все, все тут эстетично. Я не прочь Гулю посмотреть: она теперь самый модный человек в Париже. Скальковский новым чудом ее называет.

Последнее мое свидание с Антоном Павловичем было в сентябре в Москве, когда он приехал туда ставить «Вишневый сад». Он был так занят, что никого не принимал. Поэтому я написал ему, спрашивая, когда бы нам можно было встретиться.

Антон Павлович ответил мне: «Был бы рад повидаться с вами, потолковать, вспомнить старину. Я бываю дома утром от 10 до 12 с пол., затем — в Художественном театре на репетиции до 4, потом я опять дома, а в 8 часов опять в Художественном театре на спектакле. Я ведь не видел пьес и теперь намерен поглядеть их. Не видел ни «На дне», ни «Юлия Цезаря», ни «Столпов», не был даже в Малом театре. Постарайтесь повидаться со мной. Или у меня побывайте, или дайте знать, в котором часу можно застать вас».

На другой день я был у Антона Павловича, и когда он вышел ко мне, я заметил в нем большую перемену: он постарел, похудел, лицо пожелтело, а может быть, это был сильный загар, покрылось мелкими морщинками. И тем не менее этот вид даже не намекал на возможность трагического конца. В напечатанной мною потом беседе с Чеховым я говорил, что нашел его вполне поправившимся. Я умышленно скрасил действительность, дабы Антон Павлович убедился, что он выглядит хорошо.

Он рассказывал мне о постановке «Вишневого сада», которой был тогда поглощен.

— Все как-то не налаживается... Приходится одни и те же роли перераспределять между исполнителями.

Эта перетасовка ролей беспокоила Антона Павловича: он боялся, что исполнители не найдут должных тонов. Они не только нашли их, но это был какой-то совсем новый тогда для нас концерт, не похожий на современную сцену. Тут Чехов, казалось, слился воедино с исполнителями, с режиссером, с художником. Это было одно целое, неразрывное, неотделимое друг от друга, была гармония творчества. Один из наших общих с Антоном Павловичем друзей указал на родственность душевных настроений поэта и всей группы деятелей Художественного театра, заметя при этом, что тут не уловишь, где начнется создание театра и где кончается автор.

Я лично убежден, что, не попади пьесы Антона Павловича в Художественный театр, он утратил бы много своей прелести и значения. Вспомните «Чайку» в Александринском театре. И наоборот, не было бы Чехова, не был бы Художественный театр тем, что он есть.

Чеховские пьесы нельзя было играть, а можно было только создавать. Это мнение убедительно для меня.

Этим и объясняется катастрофа «Чайки» в Александринском театре, несмотря на участие В. Ф. Комиссаржевской. Она, эта большая актриса, не спасла пьесы. Комиссаржевская чувствовала одиночество, сиротливое, беспомощное; исполнители, окружавшие ее, не чувствовали, не разгадали автора. Не мог помочь им и режиссер Е. П. Карпов.

Комиссаржевская и Чехов, первая, как актриса, второй, как драматург, мечтали раньше других о новых формах и путях сценического и литературного творчества... мечтал о новых формах и один из героев «Чайки»...

Я сидел на этом спектакле в ложе Суворина, и за нами, стараясь спрятаться и надеть шапку-невидимку, жалась в уголке фигура удрученного Чехова. Она, эта фигура, юркнула куда-то и исчезла.

— Да где Чехов? Вы не видели Антона Павловича? — суетился Суворин в антракте.

А Чехова и след простыл. Говорили: уехали! — Куда уехал? Домой, в Москву? Не помню, куда он уехал или спрятался в театре.

А. М. Читау подтверждает, что она видела его в уборной бенефициантки Левкеевой, откуда он вскоре тоже исчез.

* * *

Очень интересными воспоминаниями о постановке в Москве и Петербурге первой большой пьесы Чехова «Иванов» поделился со мной покойный Владимир Николаевич Давыдов.

Мы вспомнили с ним о Чехове. Разговор завязался по поводу возобновления в Александринском театре «Иванова». Давыдов может быть назван крестным отцом этой пьесы: он поставил ее в первый раз в Москве и затем в Петербурге.

«Иванов» был первой большой пьесой Антона Павловича, увидевшей сцену.

Чехов не раз заглядывал за кулисы театра Корша, бывал у Давыдова в уборной. Однажды, зайдя к нему в начале спектакля, Чехов как будто стеснялся, словно хотел что-то сказать, но не решался.

— Антон Павлович,— обратился к нему Владимир Николаевич,— вы что-то хотите сказать?.. говорите!.. Я вижу, угадал я?

— Ничего... я так зашел...

— Да уж сознайтесь, что я прав.

— Зашел без всякого дела...

Мялся мялся Антон Павлович и только после второго акта подошел к Давыдову и сунул ему в карман сюртука тетрадь.

— Не смотрите!. После, после, дома посмотрите. До свидания. Владимир Николаевич! Потом скажете мне...

Давыдов пытался при Чехове взглянуть на рукопись, но Чехов удержал его руку.

Антон Павлович ушел из театра.

Давыдов нашел в кармане пьесу «Иванов».

— Развернул я дома за чаем пьесу, прочел десяток страниц,— рассказывал, волнуясь, Владимир Николаевич.— В восторг пришел. Дальше — больше... Всю ночь читал, не мог оторваться. Рано утром полетел к Антону Павловичу: «Друг мой, дайте пьесу, поставим!..»

— Ни за что! — замахал Чехов руками.— Ни Боже мой!

Уговаривал его Давыдов целый час. Наконец уломал.

— Берите... берите,— сказал Чехов,— берите на свою ответственность, вы будете виновником провала.

— «Иванов» захватил меня,— продолжал с нервным подъемом Давыдов.— Это было что-то мое, родное! Успех был такой, шум такой, не помню такого приема пьесы!

— Кто играл в «Иванове»?

— Обставили мы пьесу, как только могли... Сарра — Глама-Мещерская, Шурочка — Рыбчинская, доктор — Салонин, Иванов — я, Лебедев — Градов-Соколов, Лебедева — Бороздина, Шабельский — Киселевский, Бабакина — Кошева, Боркин — Светлов, старуха — Красовская, Косых — Валентинов.

— Возвратился я в Петербург... тогда режиссером в Александринском театре был Ф. А. Федоров-Юрковский. Я был у него. Он искал пьесу. Есть, говорю, есть, дорогая, излюбленная! Завтра привезу.

На другой день Федоров-Юрковский запоем, так сказать, прочел «Иванова».

Давыдов немедленно телеграфировал Чехову, и тот приехал в Петербург

Здесь то же самое — сенсация и успех...

— Чехов бывал на репетициях, где-то прятался с его скромностью, не видно его было... Я ставил пьесу,— рассказывал Давыдов,— играли: Сарру — Стрепетова, Шурочку — Савина, доктора — Аполлонский (или Чернов — не помню), Иванова — я, Лебедева — Варламов, Лебедеву — Жулева, Шабельского — Свободин, Бабакину — Н. Хлебникова, Боркина — Далматов, старуху — Стрельская, Косых — Арди..

Владимир Николаевич весь загорался, когда вспоминал об «Иванове» и об его незабвенном авторе. Чувствовалось, как взбудоражились его нервы, как много было в этом художнике вдохновения, молодого вдохновения, несмотря на его годы.

Перечитывая пьесы Антона Павловича, вспоминая их на сцене и смотря их теперь на сцене, приходишь к одному выводу.— Как бы ни изменилась русская жизнь, какие бы бури и ураганы ни пронеслись над Россией, чеховские мелодии всегда останутся близкими и родными нам и будущим поколениям. Они незабываемы.

В 1904 году я издавал в Петербурге «Петербургский Дневник Театрала» и обратился к Чехову с просьбой сотрудничать у меня. Он отвечал мне телеграммой: «Очень рад, сочувствую вполне, но погодите — теперь болен. Пришлю в январе рассказ или водевиль. Кланяюсь, жму руку. Чехов».

К огорчению читателей и, конечно, моему, Антон Павлович не появился на страницах моего журнала. Водевиль был задуман Чеховым, но написать его он не успел.